

## ДИСКУССИЯ

**И. ХАЛФИН:** Хочу в преддверии чемпионата мира по футболу связать тему нашей конференции и докладов с темой футбола, чтобы сказать несколько слов о теории и методологии нашей работы. Предположим, я историк XXX в. и открыл очень известного жителя этого города, звезду начала XXI в., кажется, фамилия его Аршавин. Я о нем очень мало знаю, только то, что речь идет о центральном нападающем петербургского «Зенита». Как я к нему отношусь? Кто он такой? Обратите внимание, мне кажется, это не «субъект» (мы использовали это слово довольно часто), потому что «субъект» нас в принципе отсылает к Канту, «субъект восприятия» ничего общего с темой не имеет. Это не «лицо», он не субъект права, и юридический дискурс здесь ни при чем. Он, может быть, личность, но его индивидуальность — это не самое интересное; я читал интервью Аршавина и могу сказать, что авторефлексия — это не самая сильная его сторона. Вместе с тем он очень заметен. Рабочий он или крестьянин? Можно поинтересоваться его биографией, для многих это интересно. Но мне кажется, опять-таки, что это не открывает сути Аршавина и не объясняет его успех сегодня.

Только вчера узнал, что, оказывается, в сборной Бразилии один из ее ведущих футболистов Кака — аристократ, происходит из очень богатой семьи, играет с другими футболистами, которые бегали босыми по берегу Копакабаны, — и это тоже интересно, но прямого отношения к делу не имеет. И то, что мы говорим о том футболисте, прямо не связано с его социальным происхождением. Социальная история для анализа Аршавина — опять не главное. Аршавин — русский футболист. Но на сегодняшний день он играет за английский «Арсенал», и вы знаете, это на его игре не отразилось. И то, что интересно в Аршавине, не имеет отношения к его национальному происхождению.

Все эти моменты, конечно, присущи Аршавину, вопрос только в том, помогают ли они нам в нем разобраться. Да, у него есть образ, и если вы смотрите рекламу, в которой он участвует, то, конечно, вырисовывается определенный образ Аршавина, но опять же это не первое, с чего мы должны начать. Мне кажется, что мы должны начать — и это мой теоретический постулат — с правил футбольной игры. Предположим, в XXX в. мы уже в футбол не играем и плохо в этих правилах разбираемся. Что у нас есть? У нас есть пленки с записями нескольких футбольных игр. Хорошо, если я сумею найти регламент — фильмы

о правилах футбольной игры. Но, предположим, этот документ не сохранился. И всё, что у нас есть в руках — это запись футбольных игр начала XXI в. Если у нас в наличии большое количество записей игр, то это упрощает дело, но если их не так много, то между нами может возникнуть спор о том, как интерпретировать правила этой игры и как понимать футбол. Обратите внимание — анализ правил игры, может быть даже спорный, говорит нам что-то об Аршавине. Я мог бы сказать несколько слов о том, что делает Аршавин, не входя в подробности его биографии. Вот Аршавин, например, очень рад, когда он забивает гол; у него такой характер — любит владеть мячом; он переживает, когда его команда пропускает мяч или когда ему показывают красную карточку (*смех в зале*). Значит, я могу что-то сказать об Аршавине, опять-таки не занимаясь его личностью, не занимаясь его характером, не занимаясь тем, что является очень часто объектом анализа в российской историографии.

Конечно, то, что я сейчас говорю, не оригинально. Метафора игры очень часто используется в социологических и антропологических исследованиях. Она нас отсылает к Витгенштейну, “to watch game”, правда, им очень редко пользуются в социологии. Она нас отсылает к Ирвину Гоффману — «Жизнь как игра» и, конечно, к Мишелю Фуко, особенно к его «Приложению к русской истории» в переложении Стивена Коткина. Положение простое, оно заключается в том, что правила предполагают конкретику и что определенные правила игры, в данном случае футбол, или, в другом случае, русская революция, дают возможность к ним подойти путем системного анализа определенного набора правил. Фуко называет это «политическим дискурсом». И при помощи анализа этих правил можно выявить нечто. Это «нечто» — сложный момент, это не один из тех терминов, которые я здесь только что раскритиковал, это что-то, что можно назвать, может быть, индивидуумом, что-то, что когда-то в начальных переводах Фуко на русский язык называли «самостью». И самое главное, это то, что антропологи когда-то называли «анализ через *etic and etic*», то есть не использование языка, присущего самому революционному процессу и современнику, а такой термин, который мы как историки, как социологи пытаемся выработать, чтобы объяснить, кто он, этот субъект революционного процесса. Этот подход к субъекту — опять это слово, которое занято мной неудачно, или лучше — какой подход у нас есть к этому агенту, или к действующему лицу, скажем, в 10-е, 20-е, 30-е гг., неважно какие. Значит, форма перед содержанием.

Остановлюсь на докладе Ива Коэна и скажу сразу, что согласен с его общими положениями. Но обратите внимание, он говорит непрерывно: «я», «я», «я»... Мне кажется, это симптоматично. Значит, у нас отсутствует понятие, термин. Это свойственно и моей работе с советскими автобиографиями, и, кажется, работе Йохена Хелльбека с дневниками. Явно есть практика производства этой советской самости, практики налицо, но объект исследования, то, что производят, здесь довольно расплывчат и не совсем ясен. И поэтому очень интересный подход, который нам предлагает Николай Плотников, — *Begriffsgeschichte*, история понятий, — на мой взгляд, не сработает. Не сработает потому, что практикой опытный интеллектуальный историк не занимается. Он работает не через Фуко, а через Козеллека, и это не позволяет ему выявить процесс производства вот этого «нечто», для чего у нас нет четкого слова.

Есть, конечно, слова «сознание», «выработка советского сознания», может быть, «воля». Иногда в документах появляется понятие «душа», но это явно метафора и какой-то анахронизм, и еще мое любимое слово «нутро». Но «нутро» — это не совсем понятие советского психологического дискурса. Вы пытаетесь разработать понятие «воля» в какой-то мере вне практик его производства, через анализ его понятийного пространства. Понятие «воля» в применении к сознанию, которое в Советском Союзе надо было выработать, мне кажется несколько расплывчатым, и практики необходимы, чтобы сфокусироваться на этом процессе.

Вкратце о «Жизни замечательных людей», автобиографии движения от тьмы к свету. У нас все-таки вначале есть форма — форма жития святых, классическая форма, которую мы знаем с блаженного Августина, развитие к чему-то, к какой-то полноценности. Очень интересно, что происходит, когда мы наконец-то доходим до конца этого пути прозрения и понимаем, где мы живем. Мы становимся сознательными. Мне кажется, что здесь только начинается проблема, потому что, приобретя сознательность и став хорошим марксистом, «прозревшие» не всегда поступают правильно, и, не дай бог, голосуют за троцкистов. Почему? Возможны два варианта, кардинально расходящиеся. Один вариант — потому что я дегенерат, потому что я слабовольный, потому что моя воля раздвоена, и тогда меня надо срочно лечить, может быть, вернуть меня назад на производство. И это нормально. Другая возможная интерпретация — это то, что у меня злая воля. Троцкист и заядлый, неисправимый контрреволюционер — он тоже волевой, конечно. Поэтому производство сильной воли не исчерпывает проблемы. Наоборот, оно только её ставит. Поэтому во время Большого террора, обратите внимание, почти все психологические журналы в Советском Союзе были закрыты. Психологический дискурс отпал, он потерял свою релевантность. Это превратилось в какой-то чуть ли не метафизический вопрос.

В статье Андрея Щербенка, заметьте, нет никакого контекста. Он ничего не рассказывает ни о режиссерах, ни о политической конъюнктуре производства этих фильмов, ни о том, кто их финансировал, ни о том, сколько зрителей их смотрели, и так далее. Почему? Потому что не надо. Потому что существующая литература совсем не помогает разобраться в процессе сталинизма. Автор показывает, как сам кинематограф, то есть форма, предполагает некую самость или некоего индивидуума, форма объясняет самое главное в сталинизме — как проектировался этот субъект. Это очень трудно сделать, потому что это совершенно не очевидно. Андрей, как я догадываюсь, сделал одно из двух: он или посмотрел десятки и сотни фильмов 1930—1940-х гг., или посмотрел эту «Зою» 15—20 раз. И то и другое очень сложно делать, вполне вероятно, что он сделал и то и то. Анализируя формы производства сталинского кинематографа, можно определить, что-то сказать о сталинском индивидууме, что совершенно неочевидно, чего нигде нет. Вы не перекажете какую-то критическую статью, которая вышла в то время, и биография режиссера ничем не поможет, нужен только анализ форм.

Всё, что я сказал, было бы тривиально для формалистов 1920-х гг., это идет оттуда, но это почему-то совсем не применяется историками для научного анализа. Только в докладе о Лидии Гинзбург, которая занималась блокадными дневниками, это сделано очень интересно.

Одно критическое замечание по докладу А. Щербенка: мне кажется, что выбор слова «трансцендентальный» не очень удачен. Дело в специфике материала. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь этим сказать, но этот трансцендентальный субъект имманентен исторической действительности. Это проявляется очень хорошо, это показывает и Борис Гольц, и Михаил Рыхлин. В том-то и вся трудность, в имманентизации трансцендентности. Это проект, но мы ведь строим мир не в Новом Иерусалиме, а здесь, на месте. Тут не качественно другое изменение, а именно попытка превратить количество в качество и превратить святость этого идеального субъекта в конкретику.

**Н.Б. ЛЕБИНА:** Уважаемые коллеги, я не случайно сказала вчера, что мне всё время придется начинать с самоидентификации, потому что сегодня с утра я поняла, что должна быть достойна В.М. Панеяха. Именно он изначально планировался в качестве комментатора по данной секции. Но внезапный отказ Виктора Моисеевича от выполнения своих обязанностей вынудил меня, человека легкомысленного и явно чужого в данной среде, попробовать всё же откомментировать доклады, связанные с процессом конструирования человеческой души в период сталинизма.

Я участвую в этой конференции не для того, чтобы учить, и не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы учиться. Любые мои высказывания — это всего лишь мысли по поводу выступлений моих коллег. Хотелось бы начать с того, на что, наверное, обратил бы внимание и Виктор Моисеевич, это название нашей секции, включающее понятие «душа». Хотелось бы узнать, какой смысл вкладывают и организаторы конференции, и докладчики в это понятие.

Насколько я помню, знаменитый философ и сексолог Игорь Кон называл человека сталинской эпохи «бездуховной бестелесностью». Но большая группа западных, а теперь и российских ученых, к которым я себя робко причисляю, доказали, что телесность в 1930–1950-х гг. была вполне определенной и ярко выраженной. А теперь, по-видимому, появилась необходимость выяснить, была ли у этой телесности душа? Меня вполне удовлетворяет употребляемое на конференции понятие «конструирование», которым можно определить некую активную позицию, даже деятельность, государства и идеологических инстанций. Неясным остается в данном случае, что конструирует власть? И Й. Хелльбек, и Н. Плотников говорили о том, что у нашего научного форума должна быть четкая терминология, которой мы будем оперировать, говоря о субъективности. Для себя я выбрала некую триаду: человек — индивид — личность, которые объединяются в понятие «индивидуум», а затем попыталась вписать «душу» в этот комплекс. Процесс конструирования сопровождает этап формирования из индивида личности, его социализацию. Но когда возникает «душа», мне всё же определить не удалось.

Я попыталась вычленить загадочную душу сталинского времени в текстах докладчиков, которые, по-видимому, солидарны с организаторами и, как атланты, подпирают идею секции если не плечами, то докладами.

Господин Коэн! Для себя ваш доклад я озаглавила строками известного поэта Николая Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться,  
Чтоб воду в ступе не толочь,  
Душа обязана трудиться...

Даже поверхностное ознакомление с вашим текстом позволило мне заключить, что в процессе определенных дисциплинирующих практик власти и в процессе работы над собой происходит формирование неких качеств индивида на стадии его превращения в личность, которые при желании можно определить как «душу». Особенно ценным для меня было ваше замечание о сущности так называемых «эго-документов», которые и являются, по вашему мнению, важнейшими документами для реконструкции субъективности. При этом речь идет не только и не столько об источниках личного происхождения, а скорее об официозе, зафиксировавшем не только слова, но и дела. Таким образом, появляется возможность реконструкции субъективности не только на основе источников личного происхождения, но и опираясь на источники другого вида, находя отражение деяний в умысле и умысла в деянии.

Мне показалась очень перспективной идея о так называемых «скрытых фактах работы над собой» в личных дневниках. Не могу здесь не привести пример дневника нашего коллеги А.Г. Манькова, который в 1930-е гг. писал потрясающий по своей искренности документ, о чем стало известно лишь шестьдесят лет спустя. Факт сокрытия и одновременно сохранения автором своего дневника — свидетельство «работы над собой». Требуется осмысления, мне кажется, и ваша идея об одних и те же практиках, существовавших во Франции и в СССР, то есть при сталинизме и при либерализме. Судя по вашим утверждениям, можно предположить существование «сталинизма с либеральным лицом» или «либерализма со сталинским оскалом».

Сильное впечатление на меня произвел доклад Андрея Щербенка. Я невольно вспомнила, как каждый интелlectual в начале 1990-х гг. впадал в трепет, прикоснувшись к текстам М. Фуко, и в особенности к первым же строкам книги «Слова и вещи», которые звучали примерно так: «Художник стоит слегка слева от портрета. Сейчас произойдет чудо на острие пера его взгляда. Но это не так всё просто». Вполне в духе М. Фуко звучит ваша идея о том, что сталинская кинокамера действительно является невидимой. Идея мне показалась очень любопытной, интересной и на самом деле в какой-то мере приблизила меня к пониманию той самой души. Сталинский зритель, как вы отмечаете, способен воспринимать неких нереальных героев, и это, по-видимому, свойство души, но несконструированной, а априори существующей. Но все-таки в докладе явно не хватает конкретики. Непонятно, что вы вкладываете в метафору «сталинское кино»? Есть ли у него хронология, какое-то измерение?

Два последних доклада мне тоже представляются заслуживающими внимания, потому что в действительности проблема реконструкции биографии — это всегда проблема реконструкции субъективности, некая ложь по отношению к субъективности путем биографического описания этой субъективности. Оба доклада связаны между собой, интересны по замыслу и легко воспринимаются, они фундированы. Однако следует отметить, что авторы явно переоценивают влияние сталинской идеологии на особенности описания биографии ученых.

Сообщество интеллектуалов — это серьезный клан, корпорация, не терпящее отклонения от правил. Именно поэтому академическая среда ополчилась на мемуары Керы Дробанцевой-Ландау, которая попыталась воспроизвести некую субъективность ученого эпохи позднего сталинизма.

**В.П. БУЛДАКОВ:** В докладе И. Коэна поставлен принципиально важный вопрос: как разрешалось противостояние личности и навязываемой ей социальной функции в Советском Союзе? Всякая исторически известная государственность, так или иначе, занималась «конструированием человеческой души», во всяком случае, все религиозные системы видели свое предназначение именно в этом, более или менее успешно навязывая личности задачу самосовершенствования перед лицом Бога, но в интересах земной власти. Слов нет, коммунистическое государство нуждалось в куда более этатизированных и идеологизированных псевдоличностях. Насколько преуспели коммунистические правители в деле обезличивания и нивелирования граждан во имя «великой цели»? Нет сомнений — система заставляла «работать над собой». Но насколько интенсивно и эффективно? Каково было при этом соотношение внешнего принуждения и внутренней потребности к адаптации? Действительно ли работал над собой «простой советский человек» или вынужденно притворялся?

Представляется, что «восходящие» утопии действительно способны — по крайней мере, на время — стимулировать самомотивацию человека. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше», — заявил некогда В. Маяковский. Вероятно, он был вполне искренен... на словах. В реальной жизни *самокритика*, *самоотчетность*, *самовоспитание* выполняли скорее функцию *самоадаптации* и *самоконтроля*, нежели реального *самосовершенствования*. Во всяком случае, как в свое время подметила Ш. Фицпатрик, кампании самокритики на предприятиях оборачивались тем, что более широкое социальное пространство становилось прозрачным на манер крестьянской общины.

Конечно, практика самокритики и самоотчетности была частью попытки вторжения власти в персонально-ресурсную сферу ради достижения производственной эффективности. Отсюда, между прочим, и идея соцсоревнования. Но известно и то, что стахановское движение, ударничество, рационализаторство и изобретательство, наконец, «коммунистический труд» встречали весьма скептическое отношение в рабочей среде. Советскому «гегемону» было хорошо известно, что личные производственные достижения обычно оборачиваются общим снижением расценок и повышением норм выработки. Советские люди хорошо понимали, насколько выгодно быть такими как все. Несомненно, ритуальные идеологические фразы, вроде: «В то время как весь советский народ...» заставляли человека внутреннее подтянуться. Но при этом он куда более активно учился притворяться.

Существует и иная сторона проблемы, касающаяся на сей раз не столько «простого советского человека», как его руководителя, демонстративно отказывающегося от всякой субъективности. Представляется, что эксплицитное элиминирование собственного «я» может рассматриваться как подсознательная попытка уклониться от *личной* ответственности за свои действия. В общем, советский опыт контроля над тем, что Ю. Хабермас назвал коммуникативным

разумом, вряд ли можно считать удавшимся. На мой взгляд, русский человек по собственному историческому общинному опыту подсознательно ощущал как преимущества, так и издержки навязанного коллективизма.

Чем-то советская производственная деперсонализация напоминала старую — артельную. Но та носила по преимуществу характер кратковременной мобилизации при учете субъективного фактора. Конечно, можно сравнивать советский режим субъективности с западным «посттейлоризмом», но вряд ли это будет особенно продуктивно в познавательном отношении. Возможно, более полезно сравнение с японским опытом использования ресурса личности. Он примечателен тем, что проблема производственной эффективности решается за пределами собственно производства. Члены того или иного коллектива по команде руководителя после работы отправляются в ресторан или куда-нибудь еще (включая бордель), где под видом всеобщей релаксации укрепляется корпоративный дух преданности фирме и начальству. По собственному опыту могу сказать, что «спаивание» коллектива имело место и в СССР, но признаем, что на японском фоне аналогичный советский опыт «работы над собой» выглядит довольно убого.

Несомненно, всякая система пытается навязать выгодный ей режим субъективности. Революционным доктринерам приходится — по крайней мере внешне — делать выбор между традицией и инновацией (хотя на деле в России они стали заложниками традиции). Строго говоря, перспективы каждого нового технологического уклада можно оценивать в контексте реактивации тех или иных традиционных форм субъективности. Мне кажется, российская власть, не только большевистская, была далека от учета этого. Было бы чрезвычайно интересно узнать, что *в действительности* понимал М. Горбачев под человеческим фактором.

Мне в свое время доводилось бывать на так называемых открытых партийных собраниях. Впечатление было неоднозначное — имитация коллективного самосовершенствования. Даже когда рассматривалось то или иное «персональное дело», одна сторона делала вид, что всерьез прорабатывает «провинившегося», а тот прикидывался раскаявшимся, «осознавшим ошибку», готовым «исправиться». Строго говоря, вся система самосовершенствования личности в СССР дала совершенно определенный итог: одни делали вид, что работают, другие — что платят; те и другие апеллировали при этом к социалистическим ценностям.

Более того, мне кажется, что в годы так называемого застоя люди стали чрезвычайно активно «работать над собой» *в противовес* навязываемым ценностям. И тому удивляться не приходится. Советская система была симулятивной: государство приспособлялось к неизживаемому традиционализму, трудящиеся — к официальным нравственным и поведенческим императивам. Всё это происходило под знаком «верности идеалам». Вот, собственно, и весь итог советского опыта «работы над собой».

**Н. МИТРОХИН:** Хотел бы поблагодарить А.Н. Еремееву за интересный доклад и сказать, что, конечно, те инвестиции, которые делали в фильмы об ученых, были все-таки отражением общих инвестиций страны в военно-промышленный комплекс и развитие системы образования в целом. Это своего рода розочки из крема на большом пироге, отданном на съедение ВПК. Надо сказать, что

эта пропагандистская деятельность была результативной. Правда, результат проявился десятилетия спустя, в 1990-е гг., когда огромное количество пожилых российских ученых, поколение, замкнутое в своих академгородках и прочих научных центрах, проявило себя активными сторонниками сталинистской версии коммунизма и поддержки русского национализма, хотя в 1960-е гг. все они в общем и целом разделяли идеи XX съезда, во всяком случае, против них тогда не возражали.

У меня есть замечания по поводу доклада Франциски Тун-Хоенштайн о серии ЖЗЛ. Так случилось, что я тоже занимаюсь серией ЖЗЛ, но уже с конца 1960-х гг., когда она оказалась под контролем движения русских националистов. Но кто ее делал в начальный период? Из доклада совершенно не ясно, кто были те люди, которые реально заказывали книги, их редактировали. Известно, что литературное пространство Советской России в 1920–1930-е гг. было жестко поделено, стратифицировано и связано между собой не только узами групповщины, то есть участием в тех или иных литературных группировках, но и конкретными семейными, финансовыми интересами.

Естественно, такое прибыльное дело, как массовая серия, не могло без этого обойтись. Ваш текст свидетельствует об очень ограниченном круге источников. Возникает вопрос, достаточны ли они в принципе для рассуждения о теме моделирования образа и прочего. Или, как нередко бывало в 1930-е гг., да и в последующий период, сидел в редакции какой-нибудь маленький незаметный человек почти без должности, какой-нибудь зам. главного редактора, а от его соображений собственно вся эта литературная политика серии и зависела. Следующий вопрос не только о роли личности, но и о роли институций. Вы говорите о том, что книги серии показывали лично Сталину, и отсюда возникает ощущение, что он «всё определял». Тогда зачем же существовала вся остальная идеологическая машина, направленная на обеспечение контроля над этими книгами? Был же Агитпроп ЦК с его конкретными позициями конкретных чиновников по конкретным вопросам в конкретные периоды, система Главлита, наконец, издательство «Молодая гвардия», выпускавшее серию ЖЗЛ. Я не сомневаюсь, что на всех уровнях существовало свое мнение по поводу книг серии, которое не могло не оказывать влияния на их выход.

**Й. ХЕЛЛЬБЕК:** Мне очень близок взгляд, концептуализация сюжета, предложенные Ивом Коэном. Тем не менее у меня есть вопросы, связанные с освещением различий режима субъективности в межвоенный период. Разделение личностного и служебного «я» относительно сталинской эпохи вызывает у меня сомнения. Может быть, это ближе подходит к случаю «Пежо». Зададимся вопросом, с какой целью строится завод «Пежо»? Строится ли он для окончательной победы коммунизма? Мне кажется, что нет. Там создавалась система руководства рабочими с определенной рациональной целью. Может быть, речь идет об этике человека, которая выходит за рамки завода «Пежо»? Мне кажется, в сталинском варианте мы видим такую цепь «самости» человека: завод, а потом человек — в конце. Человек строит завод, а в процессе строительства завода сам человек перестраивается. Окончательная цель, мне кажется, все-таки человек. И я также

считаю, что разделение личностного и служебного как отделение труда, работы от человека не соответствует специфике марксистской концепции о человеке.

Суть построения социализма очень хорошо выявлена в потрясающем докладе Андрея Щербенка. В кадре глаза Зои обращены на настенные ходики, которые показывают двенадцать часов, означающие апокалиптический час, решающий час мировой истории, который сейчас наступает. Мне кажется, именно это историческое сознание и воображение людей того времени — это и есть суть того трансцендентального, которое я хотел бы попросить Ива также включить в свой анализ.

Тем не менее у меня вопрос к А. Щербенку. Как уже заметили комментаторы, есть возможность смотреть один фильм пятнадцать раз или смотреть пятнадцать разных фильмов подряд. Мы знаем, что Сталин смотрел фильм «Чапаев» по крайней мере тридцать семь раз, это документально подтверждено. Хотелось бы знать, сколько раз обычный зритель смотрел такой фильм? С каким багажом зритель сталинского кино заходил в кино и с каким багажом выходил? Мне кажется, это нуждается в каком-то объяснении. Можно, конечно, предполагать, что это часть коллективного бессознательного, сказать, что это выходит за рамки источника, потому что всем это понятно и не нуждается в объяснении, но прежде всего это нуждается в твоём объяснении.

Я также не уверен, что правильно понимаю, что такое сталинское кино. Например, фильм «Чапаев» в моем представлении — сталинское кино. Это 1934 г., но по визуальности, по своему построению он ближе к постсталинскому кино в твоём изложении, потому что там человек обучается на примере другого человека внутри кадра. Я хотел бы иметь более жесткую дефиницию сталинского кино. Вообще, мне кажется, стоило бы расширить понятие о производстве: производятся не только имплицитные звуки, производится и кино того времени, и производится с большим трудом. А.Н. Еремеева показывает, например, сопротивление материала. А ведь это также относится и к пленке. Мне кажется, твой анализ обогатился бы, если бы ты включил эти дискурсы создания сталинского кино, когда шли дискуссии и преодолевалось сопротивление материала — не только кинопленки, но и кинорежиссера.

В докладе А.Н. Еремеевой мне показался интересным один момент в связи с фильмом о Софье Ковалевской. В этом фильме, на мой взгляд, нашел отражение военный опыт, хотя, может быть, это тема для завтрашнего разговора. В сюжете, где немецкий профессор Шведлиц говорит, что женщины в Германии должны не знать математику, а производить математиков, проявились советские представления о нацистской Германии. Я бы не удивился, если в этом фильме показали бы абажуры из человеческой кожи.

**А.Ю. ПОЛУНОВ:** Вопрос Франциске Тун-Хоенштайн. Вы утверждаете, что биографии родоначальников национальных культур послужили удобным материалом для создания идеологически выверенных национальных нарративов в Советском Союзе, инструментом советской пропаганды. Но те деятели культуры, о которых идет речь — Шота Руставели, Тарас Шевченко, Низами и др., — обрели статус «родоначальников» задолго до большевиков и без всякого их участия. Имел ли место целенаправленный отбор родоначальников национальных нарративов?

Производилось ли отсечение более или менее известных основоположников национальных культур, тех, кто был признан таковыми до революции? Подставлялись ли на их место другие фигуры, которые действительно могли служить инструментом пропаганды?

Еще одно замечание. По мнению автора, первые биографии серии ЖЗЛ создавали впечатление, что все замечательные люди служили борьбе за свободу человечества и готовили победу Октября. Однако перечень имен этих персонажей — Джеймс Кук, братья Райт, Иоганн Гутенберг, Жорж Санд — наводит на размышления. Мне представляется довольно затруднительным, при всём искусстве, которым владела советская пропаганда, представить Джеймса Кука в качестве предшественника Октября. Иоганн Гутенберг и Жорж Санд в каком-то смысле готовили победу Октября, даже братья Райт готовили, но вот Джеймс Кук... (*смех в зале*). Полагаю, ваша мысль в основе своей верная, но нуждается в уточнении: в ЖЗЛ воспевался общий прогресс человечества, движение по пути совершенствования техники, познания мира и т. д.

Вопрос А.Н. Еремеевой относительно издания «Люди русской науки». Слово «русской» для нас, привыкших отмечать различие между понятиями «русский» и «российский», сразу бросается в глаза. Насколько я понимаю, в этом издании были представлены не российские, а именно русские ученые? Вызывает также сомнения утверждение автора о том, что биографические фильмы сталинской эпохи оказались непопулярны, потому что воспринимались как жития святых. Агиография — популярнейшее чтение в среде простого народа вплоть до самой революции. Конечно, читательская (и зрительская) аудитория со временем изменилась, но и в советское время ее составляли если не те же люди, которые читали жития святых, то их дети, максимум внуки. Структура их сознания, механизмы восприятия, хотя и сильно трансформировались, должны были сохранить пласты, унаследованные от прошлого. Если это действительно были хорошие жития святых, то они воспринимались бы на ура. Видимо, фильмы были житиями, но плохими? Каковы были, на ваш взгляд, причины непопулярности этих фильмов?

**Б.И. КОЛОНИЦКИЙ:** В блестящем комментарии Игала Халфина, мне кажется, содержится некоторое метафорическое противоречие. Призыв к эмическому подходу я разделяю, но Игал полагает, что в ХХХ в. футбол и ситуацию вокруг футбола будут изучать так, как полагает он. Если мы навязываем свой язык, свою интерпретацию, свою проблематику изучаемым нами племенам, культурным группам, «иным», то это методологическая ошибка. Но было бы еще более самонадеянно навязывать свою проблематику исследователям, отстающим от нас на несколько поколений. Можно ли предположить, что ученые в ХХХ в. непременно будут поклонниками Фуко? Можно ли быть уверенными в том, что при изучении футбола их будет интересовать только один аспект? Может быть, историков будущего будет интересовать вопрос, кто выигрывает, и тогда нужно будет реконструировать одни правила игры, а может быть, их будет интересовать реакция трибун, и тогда это потребует совершенно иной реконструкции.

**М. ФЕРРЕТТИ:** У меня вызывает опасения использование участниками дискуссии понятий дискурсивности и нарратива. Очень часто мы произносим одни

и те же слова, под которыми подразумеваем самые разные вещи. Это касается не только Запада или России, но также Италии и Франции. Столько раз мы пользуемся одним словом и думаем, что говорим об одном и том же, а оказывается, что это не так.

Второе замечание по поводу самокритики. То, что писала Шейла Фицпатрик, меня нисколько не убеждает. Мне кажется, что практика самокритики в конце 1920-х гг. — это не столько построение своего «я», сколько манипулятивная система, выстраивающая внутренние конфликты так, чтобы ими управлять. Приведу пример из моей работы. Был момент, когда я не могла понять, почему один из соратников моего героя Люлина после нескольких лет кампании самокритики вдруг сказал, что он враг народа. Потом я нашла в архиве ФСБ подробности того, как это было устроено.

Этот комсомолец, молодой парень, в первый раз выступил критически в 1927 или в 1926 г., и его уволили. Потеряв работу, с безработной женой, он не знал, как выкрутиться. Приняли его во второй раз на фабрику в 1928 г. с условием, что он будет вести себя как надо. Встреча с Люлиным опять вывела его из равновесия. Органы ему напомнили об условии, и он опять дал обещание. Но вместо того, чтобы соблюдать договоренность, он, как рабкор, посылает письма в «Голос текстильщика» в Москву в защиту Люлина. В начале 1929 г. органы дали ему понять, что продолжение сопротивления будет означать для него конец всего, и только тогда он выступил перед коллективом с покаянной речью.

Мне не кажется, что такая «самокритика» — построение собственного «я». Если мы посмотрим материалы по соцсоревнованиям, как заставляли рабочих в этом участвовать, с теми же самыми коллизиями, то увидим те же приемы манипулирования.

Мы говорили об отделении личности от государства. На мой взгляд, в советской истории важную роль играло активное меньшинство. Общество было устроено так, что именно эти меньшинства, которые были созданы более или менее искусственно, и снизу, и сверху, созданы властью, говорили от лица всех. Не только партия или профсоюзы, но и такие мелкие ячейки, как кружок рабкоров. И мне представляется важным их изучение.

**В.В. РЫЖКОВСКИЙ:** Я буду отталкиваться в своем выступлении от докладов, которые прозвучали сегодня, для меня они были скорее некими приметами, в которых отразились историографические тенденции последних лет. То, на чём я кратко остановлюсь, имеет отношение не только к проблематике сегодняшней секции, но и к тем докладом, которые прозвучали в первый день и прозвучат еще завтра.

Главным интеллектуальным раздражителем для меня стал доклад Андрея Щербенка о сталинском кино. Когда я его читал, то тоже начал свою рефлексию с цитаты. Кажется, Й. Хелльбек на заседании говорил, что вне зависимости от того, какая у нас национальность, какой пол, прошлое для нас является чуждым объектом и в своей инаковости соответственно требует определенной антропологической установки, и сама эта установка, на мой взгляд, совсем не лишняя. Ее нелепо было бы ставить под сомнение, но так или иначе, в связи с некоторыми историографическими смещениями последнего времени, связанными прежде всего с изучением сталинской субъективности и подходом к сталинизму как

к особой, чуждой цивилизации, требующей антропологической оптики для ее изучения, каждый подход требует дополнительной рефлексии. И именно в докладе Андрея Щербенка о субъекте сталинского кино, который имплицитно также задает нам некоторое представление о зрителе «оттепельного» или «застойного» кино, я столкнулся в принципе с той же самой фигурой мысли, которая меня в последнее время немного беспокоит.

Почему мы с такой изощренностью и с таким запалом стремимся показать сталинское прошлое как абсолютно чуждое, отделенное от нас бахтинской, почти что бесконечной, абсолютно эпической дистанцией? В данном случае это было показано на основании типических киношных эффектов. Я здесь не специалист, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Но мне было бы интересно узнать, почему в вашем тексте никак не было проявлено отношение к книге-диссертации Александра Прохорова об «оттепельном» кино, которая недавно опубликована на русском и в которой эта сложная диалектика взаимоотношений сталинского и «оттепельного» кино довольно интересно представлена. Сталинское кино здесь, наверное, является каким-то специфическим случаем. Что происходит за девять лет до «Падения Берлина», до появления фильма «Летят журавли», каким образом эта сталинская оптика превращается в знакомую для нас и почти что милую «оттепельную» и даже в «застойную»?

Это характерно не только для наших размышлений о кино. Точно так же сталинский субъект, громивший в 1949 г. «космополитов», через пять лет обнаруживает в себе способности «оттепельного» агитатора. На последней странице книги Й. Хелльбека Евтушенко обнаруживает в себе способность любить одинаково сильно и революцию, и женщину. Проблема правил игры, безусловно, существовала в сталинское время, об этом говорил И. Халфин, но меня интересует вопрос о том, как, собственно, эти правила игры менялись. Проблема не только антропологии сталинизма или антропологии застоя, но и проблема антропологии перехода, в том числе рассмотренная через субъективное измерение, наверное, была бы очень интересной. Нередко специалисты по сталинизму удовлетворяются для более эффектной презентации своих положений об инаковости сталинской культуры отстранением, отсылая к глыбам оттепельных нарративов, в шестидесятнической манере опровергая их или поддерживая. Те же, кто останавливает свое внимание на оттепели или застое, отсылают к сталинизму как к тоталитарной такой тотальности, кто-то говорит о трагедии, кто-то о репрессированной науке, у каждого в этом отсеке изучения имеются свои метафоры.

Но какие субъективные коллизии скрывались за этим переходом от одного к другому, на что было потрачено буквально пять-десять лет? Мы об этом не всегда задумываемся. Нужна антропология перехода, а не только антропология сталинизма и застоя. Противопоставление и необъяснимый зазор между ними прекрасно фиксируется в творчестве одного из главных вдохновителей поворота к субъективному Стивена Коткина. С одной стороны, сталинизм как цивилизация, а с другой — застойная советская цивилизация, в которой субъективное измерение заменяется глобальной объективностью процессов материальных. Возможно, я солидаризируюсь с Б.И. Колоницким в том, что проблему советского нужно рассматривать в более глобальном контексте, не растаскивая его по отдельным ячейкам нашей рубрикаторской модели — сталинизм, застой и т. д.

**В.В. ВЕДЕРНИКОВ:** Мне очень понравился насыщенный интеллектуально доклад Андрея Щербенка, но есть одно небольшое замечание: кто же был зрителем этих фильмов, по крайней мере, с конца 1930-х гг.? Мне кажется, что фильмы снимали не для зрителей, а для зрителя, одного, который сидел в Кремле. И не случайно, что после войны количество фильмов очень сокращается, потому что зритель вследствие своего возраста всё уже смотреть не мог. Интересно было бы проанализировать, как воспринимал эти фильмы рядовой советский зритель. Хочу поделиться небольшим личным опытом: в конце 1990-х мы со школьниками попытались написать работу о повседневной жизни Сталинграда после 3 февраля 1943 г. По ходу дела мы раздали анкету для старожилов, где спрашивали о том, какие фильмы им запомнились, что же они смотрели. Так вот, ни один из ответивших не вспомнил ни «Александра Пархоменко», ни «Ленина в Октябре», зато упоминались «Большой вальс», конечно же «Тарзан» и «Багдадский вор».

**Г.А. ОРЛОВА:** В конце 1960-х гг. француз Серж Московичи опубликовал любопытную работу о влиянии психоанализа на социальные представления французов о себе, доказывая на разного рода материалах, что после войны французы, сдобренные литературой, кинематографом, искусством, в обыденных жизненных обстоятельствах начали говорить о себе в психоаналитических категориях, обнаруживая в своем поведении следы либидо, эдипового комплекса и психологических защит. Проектирование советского психологического знания о воле шло в противоположном направлении: академия присваивала словари, находящиеся в актуальном житейском обиходе. Какого рода работа проводилась учеными по ассимиляции и переработке обыденного психологического знания о воле? Какой отпечаток эта дискурсивная ситуация накладывала на само научное знание? В таком интересе к словам — локальным порядкам их употребления и перформативным эффектам использования — я бы различала влияние не столько истории понятий, сколько философии языка Витгенштейна, взятой на вооружение дискурсивной психологией.

Конструирование негативного психологического профиля (например, в ходе публичных процессов) было одной из базовых стратегий проектирования и проработки психологии советского человека. Малодушие, конечно же, не являлось единственной характеристикой для описания дефективной воли. Куда более радикальным концептом была «злая воля», импортированная в советский дискурс из теологии и публицистики. Именно она была опознана в 1930-е гг. в качестве одной из эмблематичных политико-онтологических черт враждебной души, а к 1960-м гг. превратилась в индикатор психологии преступника (и в связи с этим включена в советские криминологические классификации).

Говорить о прекращении производства психологических знаний после постановления 1936 г. — ход некорректный и упрощенный. Психологическое знание в Советском Союзе производилось разными агентами и на разных дискурсивных площадках, часто за пределами академических институций, а иногда и в прямой конкуренции с ними. После разгрома психотехники и педологии производство психологических знаний не только не было прекращено, но и в каком-то смысле интенсифицировалось. Из этой перспективы запрещение советской институционально оформленной психологии имеет смысл расценивать как результат

проигрыша психологов другим душеведам, подрядившимся производить актуальное знание о человеке. Речь идет о педагогах, журналистах, пропагандистах, активистах и т. д.

Дискурс о воле не был советским изобретением. Так, например, классическая работа Экземплярского о воспитании воли появилась до революции, выдержала несколько пореволюционных изданий и была интегрирована в советский дискурс о воле. Однако для формирования советского педагогического канона воли определяющим оказался вклад не Экземплярского, а Макаренко, использовавшего обновленные словари воли, включившего категорию «борьбы» в описание работы воли, осуществившего перевод воли в план повседневности при помощи концепта «дисциплина».

Доклад Ива Коэна позволяет задуматься о траекториях множественного заимствования техник работы над собой, практикуемых и навязываемых внутри организации. Нам показали, что часть советских коллективистских техник была успешно интегрирована в западные корпоративные дискурсы и практики. Любопытно, что сегодня российский бизнес импортирует западные техники лояльности корпорации, не различая в них отчетливый советский след.

Андрею Щербенку хочу задать вопрос о контекстах. Является ли сталинское кино площадкой, на которой складывается специфический «сталинский взгляд»? Как конструирование новой («сталинской») оптики средствами фильма соотносится с работой зрения и проработкой позиции советского зрителя, ведущейся в других визуальных медиа? Скажем, в советской фотографии и картографии эта работа начинается вместе с первыми пятилетками, а во второй половине 1930-х гг. она была по большей части выполнена, а взгляд, «сталинский» или «советский», позволяющий видеть невидимое, сконструирован.

**И. КОЭН:** Сложно сравнивать историю СССР с историей либеральных стран. Конечно, «Пежо» не строит коммунизм, «Пежо» производит машины. Но меня удивило, что в начале XX в. на заводе существовали техники работы над собой для руководящего состава. Имело место прямое дискурсивное вмешательство в личность, как у рядого члена советской компартии. Сейчас на либеральных предприятиях стараются обращать внимание на личность всех сотрудников. Сравнить возможно, не надо отказываться сравнивать. Можно изучать практики психологии. У американцев было направление «психология черт личности», например воли, внимания и т. д. Такие же размышления о качествах личности встречались и в СССР.

Очень важно определить, какие качества были важны для акторов, а какие для психологов. Как историк, я не имею право рассуждать о том, что такое вообще «воля» или что такое вообще «быть лидером». Моя задача определять понятия акторов. Например, точка зрения Сталина на качества лидера в замечании о Рындине 1930-х гг.: «Человек без воли, без силы, без мужества, он всё время в хвосте у масс». Сталин говорит об определенных качествах, которые присутствуют здесь, а не на Западе. Так можно определять, какие качества важны, какие неважны и, конечно, как человек — рабочий, техник или кто-то другой — должен играть по правилам, которые задает власть.

Я согласен с В.П. Булдаковым в том, что партия стремилась овладеть личностью, овладеть всеми этими «я». Но это было только стремление. Имели ме-

сто скрытые конфликты, попытки обойти правила. Своего рода социальный компромисс нашел отражение в поговорке: «Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем». У каждого человека был свой бой с правилами.

Как я понимаю, коллоквиум имеет высокую цель определить, что означает русская личность, как она встраивалась в рамки мировой литературы, психологии, политических идеологий XX в. Поэтому сравнение с другими странами возможно, более того, необходимо исследовать транснациональные течения и взаимные влияния разных культур в сфере становления личности.

**А. ЩЕРБЕНОК:** Меня просят перевести на русский язык мою фразу в опубликованном тексте: «Специфика сталинской киноинтерпелляции едва ли может быть определена через дескриптивную идеологию, понимаемую как система эксплицитных пропозиций, воспроизводимых официальным советским дискурсом» (смех в зале). Это письменный текст, я так не говорю. Я имею в виду, что трудно сформулировать такое идеологическое положение, которое было бы универсально и специфично для сталинизма, чтобы весь сталинизм разделял какую-то идеологему, а другие советские эпохи ее не разделяли. Были, конечно, довольно специфические идеи, например, обострение классовой борьбы по мере продвижения к социализму, но этот тезис характеризовал не весь сталинизм. С другой стороны, многие общесталинские идеологемы были и общесоветскими, они сохранялись и при Хрущеве. Поэтому мой тезис состоит в том, что специфика сталинизма состоит не в идеологическом содержании, а в том, как эта идеология функционировала, если, конечно, мы вообще считаем, что у сталинизма есть какая-то идеологическая специфика.

Самый простой пример: во времена позднего социализма многие общесоветские идеологемы сохраняются, но функционируют они совершенно иначе. Это чемодан с двойным дном, циничное воспроизведение готовых формул. При Сталине идеология функционировала по-другому, хотя формально она во многом сохранилась неизменной, и это говорит о том, что изучать надо не столько пропозиционное содержание идеологии, сколько ее практику.

Другой вопрос касается смысла трансцедентального и имманентного. Слово «трансцедентальный» у меня отсылает к пространству, которое невидимо зрителю. «Трансцедентный», наверное, было бы более удачным термином. Так или иначе, имеется в виду, что в мире, который визуально конструирует сталинское кино, есть некоторое пространство, невидимое зрителю, но видимое некоторым героям. Обозначается это пространство, в частности, с помощью взгляда, в том числе взгляда Сталина, который смотрит куда-то туда, вперед, за рамку кадра.

В эпоху «оттепели» происходит то, что я назвал закрытием этого пространства. Закрытие эмблематично выражено в фильме «Летят журавли», в конце так называемой сцены изнасилования. В этом фильме Вероника мучительно ищет, но не может найти свой объект, что приводит ее к личностному кризису и к «падению». Когда Марк несет ее на руках по битому стеклу, она открывает глаза и смотрит прямо в камеру невидящим, потерянным взглядом, тем самым закрывая то потенциальное закадровое пространство, в которое был устремлен взгляд сталинских героинь, в частности Зои, в параллельном по композиции кадре.

Конечно, и «оттепельные» киногерои часто проявляют коммунистический энтузиазм и устремляются в светлое будущее. Однако, хотя зритель может симпатизировать такому герою, отсутствие идеологически маркированного закадрового пространства делает невозможным идеологическую интерпелляцию на базовом, визуальном уровне. Поэтому зритель может сочувствовать такому герою примерно так же, как атеист может сочувствовать фильму про Христа: да, человек страдает, он ему верит, сочувствует, может поплакать даже, но он от этого не становится христианином.

Задано много вопросов о том, насколько внутренне едино сталинское кино, когда оно начинается, когда заканчивается, все ли фильмы были такими же, как те, о которых я говорю в своем докладе. Это, безусловно, очень важная проблема. Я предлагаю такое решение. Сталинское кино в целом обладает достаточно узнаваемой, устойчивой стилистикой: статичные мизансцены, слабость гендерной артикулированности камеры, театральность и т. д. Можно провести достаточно четко временные границы, в которых доминировала такая стилистика: с начала 1930-х до середины 1950-х. Именно эта стилистика создает возможности для появления таких фильмов, как «Зоя» или «Великий гражданин». Это не значит, что все фильмы были такими — была масса фильмов, в которых никакого трансцендентного закадрового пространства нет, но все вместе они формируют киностилистику, создающую возможность конструирования такого пространства. Когда с наступлением «оттепели» киностилистика резко меняется, фильмы, где визуальное пространство устроено как в «Зое», становятся невозможными.

Последний вопрос по поводу реального, а не имплицитного, зрителя, и о том, как на него воздействовали эти фильмы. Проблема здесь в том, что все зрители, пользуясь выражением Стивена Коткина, «говорят по-большевистски». Если вы будете изучать то, что зрители говорили до фильма и после фильма, то, скорее всего, обнаружите, что они говорят одно и то же, воспроизводят один и тот же идеологический дискурс, но это не значит, что фильм не оказывает никакого воздействия.

Я думаю, что действие идеологически содержательных сталинских фильмов состоит в том, что зритель начинает говорить — может быть, то же самое — более искренне. Основное воздействие фильмов не в том, что зрители узнают какие-то нормативные положения, которых они не знали, условно говоря, из газет, а в том, что они как субъекты оказываются в той идеологической позиции, которую они до этого, может быть, воспроизводили лишь формально. Они, как Зоя, начинают воспринимать идеологию всерьез, а не просто как само собой разумеющуюся систему речевых ритуалов, которые надо соблюдать, а при этом заниматься личной жизнью. Есть отдельные свидетельства, что, например, зрители фильма Пырьева «Партийный билет» испытывали страх, просыпались по ночам и проверяли, на месте ли их документы. Их реакция связана именно с личным субъективным погружением в идеологическую проблематику.

**Ф. ТУН-ХОЕНШТАЙН:** Замечание Н. Митрохина абсолютно справедливо, я институционную сторону дела практически не затрагивала и не изучала. Безусловно, чтение только самих биографий и некоторых архивных документов не проясняет весь механизм контроля. Что касается издательской стороны, то в

первые годы ЖЗЛ издавалась в Московском журнально-газетном объединении, а до выхода первого тома в 1933 г. шла борьба издательств за серию. В частности, называлось издательство "Academia". А с 1938 г. серия уже выходила в издательстве «Молодая гвардия», там она и осталась.

Безусловно, внутренняя переписка редакторов, которые менялись и назначались, позволяет выяснить борьбу на разных уровнях власти и не только литературного поля, но, безусловно, и в политической сфере тех учреждений, которые использовали финансовые и другие властные инструменты, чтобы обеспечить контроль над изданием этой популярной серии. Это вопрос, который я специально не изучала.

Вопрос А.Ю. Полунова об отборе национальных героев чрезвычайно интересен. Мы проводили в феврале 2010 г. в Берлине специальную конференцию на тему «Культурный герой как парадигма между культом, культурой и политикой», в ходе которой мы стремились изучить не только фигуры советских культурных героев, которые особенно усердно насаждались, изобретались или переосмысливались со второй половины 1930-х гг., но рассмотреть их генеалогию в более широком плане.

Что касается вопроса о том, известны ли случаи, когда кто-либо из таких национальных культурных героев отсекался, то ответить на него непросто. Чаше всего мы наталкивались на то, что использовались уже известные фигуры, считавшиеся родоначальниками или хотя бы крупными представителями национальных культур, иногда менялась иерархия. Это хорошо прослеживается в частности на всесоюзных торжествах, на юбилеях. Особый случай — Шамиль, но это вопрос отдельный и сложный.

**А.Н. ЕРЕМЕЕВА:** Название книги «Люди русской науки» не подразумевало, что речь пойдет лишь об этнических русских. Имелись в виду ученые дореволюционной России и в меньшей степени — советские. В книгу помещены биографии ученых, к 1946 г. уже ушедших из жизни, причем окончивших жизнь не в сталинских лагерях, не на чужбине в результате высылки и т. д. Делать классиков из живых во второй половине 1940-х было небезопасно. Самый младший по возрасту персонаж книги — Владимир Иванович Вернадский, умерший в 1945 г. Естественно, были скрыты данные о том, что его сын и дочь находятся в эмиграции. В книгу вошли биографии только специалистов в области технических и естественных наук, а гуманитариев нет вообще. Как утверждалось в предисловии и рецензиях, виной тому ограниченный объем издания.

Очень хороший вопрос А.Ю. Полунова по поводу житий святых. Вы помните, как молодой Ключевский критически относился к житийной литературе только потому, что она не отражала реальное положение дел. Но в данном случае, думаю, чиновник называл биографические фильмы сталинской эпохи житиями святых, делая акцент не на слове «жития», а на слове «святых», потому что ученые — персонажи этих фильмов, в результате неоднократных редакций, работы цензоров (так было с картинами об А.С. Попове, И.В. Мичурине) на экране представляли почти как святые.

Негативная публичная оценка биографических фильмов сталинской поры, в том числе и об ученых, повлияла на кинематограф «оттепели» и 1970-х гг.

Вспомните, например, персонажей фильмов «Девять дней одного года», «Укрощение огня» и других. Их герои — далеко не святые. Это живые люди со всеми их сильными сторонами и слабостями. Кстати, в последние годы образ ученого практически исчез из пространства художественного кинематографа. После перестроечных «Зубра» и «Белых одежд» масштабных работ нет. А по поводу многочисленных современных документальных фильмов об ученых отметим справедливость реплики Н.Б. Лебиной о том, что многое из требований канона не изменилось и общество до сих пор тревожно воспринимает случаи, когда начинается отход от образа святого, идеального ученого.

И по поводу замечания Б.Б. Дубенцова о том, существовал ли канон. Да, канон был. Естественно, он не существовал как единый текст, но он прочитывался в официальных постановлениях, официальной переписке, в рецензиях, в выступлениях на массовых действиях типа «судов чести», «дела КР» и других. Борис Борисович полагает, что проект создания идеальных биографий ученых не провалился. Вероятно, имеется в виду его дальнейшая трансформация. Однако в позднесталинскую эпоху заданные правила языкового дискурса, минимальное пространство для импровизации преопределили слабый отклик аудитории.